



# БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

## I

Фамилия отца моего была Пиррип, а имя, данное мне при крещении, Филипп. Из этих-то двух имен еще в детстве вывел я нечто среднее — Пип, похожее на то и на другое. Так назвал я себя Пипом да и пошел по белому свету. Пип да Пип, меня иначе и не звали.

О том, что отец мой носил фамилию Пиррип, мне достоверно известно из надписи на его могильной плите, а также со слов моей сестры миссис Джо Гарджери, которая вышла замуж за кузнеца. Оттого, что я никогда не видел ни отца, ни матери, ни каких-либо их портретов (о фотографии в те времена и не слыхивали), первое представление о родителях странным образом связалось у меня с их могильными плитами. По форме букв на могиле отца я почему-то решил, что он был плотный и широкоплечий, смуглый, с черными курчавыми волосами. Надпись «А также Джорджиана, супруга вышереченного» вызывала в моем детском воображении образ матери — хилой веснушчатой женщины. Аккуратно расположенные в ряд возле их могилы пять узеньких каменных надгробий, каждое фута в полтора длиной, под которыми покоились пять моих маленьких братцев, рано отказавшихся от попыток уцелеть во всеобщей борьбе, породили во мне твердую уверенность, что все они появились на свет, лежа навзничь и спрятав руки в карманы штанишек, откуда и не вынимали их за все время своего пребывания на земле.

Мы жили в болотистом крае близ большой реки, в двадцати милях от места ее впадения в море. Вероятно, свое первое сознательное впечатление от окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже под вечер.

Ближе к вечеру мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, — кладбище; что Филип Пиррип, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и похоронены; что малолетние сыновья их, младенцы Александр, Бартоломью, Абраам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены; что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот, — это болота; что замыкающая их свинцовая полоска — река; далекое логово, где родится свирепый ветер, — море; а маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха, — Пип.

— А ну, замолчи! — раздался грозный окрик, и среди могил, возле паперти, внезапно вырос человек. — Не ори, чертенок, не то я тебе горло перережу!

Страшный человек в грубой серой одежде, с тяжелой цепью на ноге! Человек без шапки, в разбитых башмаках, голова обвязана какой-то тряпкой. Человек, который, как видно, мок в воде и полз по грязи, сбивал и ранил себе ноги о камни, человек, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся, тарачил глаза и хрипел и вдруг, громко стуча зубами, схватил меня за подбородок.

— Ой, не режьте меня, сэр! — в ужасе взмолился я. — Пожалуйста, сэр, не надо!

— Как тебя звать? — спросил человек. — Ну, живо!

— Пип, сэр.

— Как, как? — переспросил человек, сверля меня глазами. — Повтори.

— Пип. Пип, сэр.

— Где ты живешь? — спросил человек. — Покажи!

Я указал пальцем туда, где на плоской прибрежной низине, в доброй миле от церкви, приютилась среди ольхи и ветел наша деревня.

Он поглядел на меня с минуту, потом схватил, повернул верху ногами и вытряс мои карманы. В них не оказалось ничего, кроме ломтя хлеба. Он так сильно и неожиданно опро-

кинул меня, что в глазах у меня зарябило, все окружающие предметы завертелись и шпиль церкви пришелся как раз у меня между ногами. Когда церковь очутилась за прежнем месте, я сидел на высоком камне, дрожа от страха, а он жадно уничтожал мой хлеб.

— Ах ты, щенок! — сказал он, облизываясь. — Какие у тебя, брат, жирные щеки...

Я думаю, они действительно были жирны, хотя в то время я был мал не по летам и некрепкого сложения.

— Черт возьми! Отчего бы мне их не съесть? — осведомился страшный человек, грозно кивая головой. — Да-да, я, кажется, именно это и сделаю.

Я очень серьезно его попросил не делать этого и крепче ухватился за могильный камень, на который он меня посадил, — отчасти для того, чтобы не свалиться, отчасти для того, чтобы сдержать слезы.

— Слышь, ты, — сказал человек. — Где твоя мать?

— Здесь, сэр, — сказал я.

Он вздрогнул и кинулся было бежать, потом, остановившись, оглянулся через плечо.

— Вот здесь, сэр, — робко пояснил я. — «Также Джорджиана». Это моя мать.

— А-а, — сказал он, возвращаясь. — А это, рядом с матерью, твой отец?

— Да, сэр, — сказал я. — Он тоже здесь: «Житель сего прихода».

— Так, — протянул он и помолчал. — С кем же ты живешь или, вернее сказать, с кем жил, потому что я не решил еще, оставить тебя в живых или нет.

— С сестрой, сэр. Миссис Джо Гарджери. Она жена кузнеца, сэр.

— Кузнеца, говоришь? — переспросил он. И посмотрел на свою ногу.

Он несколько раз переводил хмурый взгляд со своей ноги на меня и обратно, потом подошел ко мне вплотную, взял за плечи и запрокинул назад сколько мог дальше, так что его

глаза испытующе глядели на меня сверху вниз, а мои растерянно глядели на него снизу вверх.

— Теперь слушай меня, — сказал он, — и помни, что я еще не решил, оставить тебя в живых или нет. Что такое подпилоч, ты знаешь?

— Да, сэр.

— А что такое жратва, знаешь?

— Да, сэр.

После каждого вопроса он легонько встряхивал меня, чтобы я лучше чувствовал грозящую мне опасность и полную свою беспомощность.

— Ты мне достанешь подпилоч. — Он потрянул меня. — И достанешь жратвы. — Он снова потрянул меня. — И принесешь все сюда. — Он снова потрянул меня. — Не то я вырву у тебя сердце с печенкой. — Он снова потрянул меня.

Я был до смерти перепуган, и голова у меня так кружилась, что я вцепился в него обеими руками и сказал:

— Пожалуйста, сэр, не трясите меня, тогда меня, может, не будет тошнить и я лучше пойму.

Он так запрокинул меня назад, что церковь перескочила через свою флюгарку. Потом выпрямил одним рывком и, все еще держа за плечи, заговорил страшнее прежнего:

— Завтра чуть свет ты принесешь мне подпилоч и жратвы. Вон туда, к старой батарее. Если принесешь, и никому ни слова не скажешь, и виду не подашь, что встретил меня или кого другого, тогда, так и быть, живи. А не принесешь или отступишь от моих слов хоть вот на столько, тогда вырвут у тебя сердце с печенкой, зажарят и съедят. И ты не думай, что мне некому помочь. У меня тут спрятан один приятель, так я по сравнению с ним просто ангел. Этот мой приятель слышит все, что я тебе говорю. У этого моего приятеля свой секрет есть, как добраться до мальчишки, и до сердца его, и до печенки. Мальчишке от него не спрятаться, пусть лучше и не пробует. Мальчишка и дверь запрет, и в постель залезет, и с головой одеялом укроется, и будет думать, что вот, мол, ему тепло и хорошо и никто его не тронет, а мой приятель тихонько к нему

подберется да и зарежет! Мне и сейчас-то знаешь, как трудно сделать, чтобы он на тебя не бросился. Я его еле держу, до того ему не терпится тебя сцапать. Ну, что ты теперь скажешь?

Я сказал, что достану ему подпилоч, и еды достану, сколько найдется, и принесу рано утром.

— Повтори за мной: «Разрази меня Бог, если вру», — сказал человек.

Я повторил, и он снял меня с камня.

— А теперь, — сказал он, — не забудь, что обещал, и про того моего приятеля не забудь, и беги домой.

— П-покойной ночи, сэр, — пролепетал я.

— Покойной! — сказал он, окидывая взглядом холодную мокрую равнину. — Где уж тут! В лягушку бы, что ли, превратиться. Либо в угря.

Он крепко обхватил обеими руками свое дрожащее тело, словно опасаясь, что оно развалится, и заковывал к низкой церковной ограде. Он продирался сквозь крапиву, сквозь репейник, окаймлявший зеленые холмики, а детскому моему воображению представлялось, что он увертывается от мертвецов, которые бесшумно протягивают руки из могил, чтобы схватить его и утащить к себе, под землю.

Он дошел до низкой церковной ограды, тяжело перелез через нее — видно было, что ноги у него затекли и онемели, — а потом оглянулся на меня. Тогда я повернул к дому и пустился наутек. Но, пробежав немного, я оглянулся: он шел к реке, все так же обхватив себя за плечи и осторожно ступая сбитыми ногами между камней, набросанных на болотах, чтобы можно было проходить по ним после затяжных дождей или во время прилива.

Я смотрел ему вслед: болота тянулись передо мною длинной черной полосой; и река за ними тоже тянулась полосой, только поуже и посветлее; а в небе длинные кроваво-красные полосы перемежались с густо-черными. На берегу реки глаз едва различал единственные во всем ландшафте два черных предмета, устремленных вверх: маяк, по которому держали курс корабли, — очень безобразный, если подойти к нему

поближе, словно бочка, надетая на шест, и виселицу с обрывками цепей, на которой некогда был повешен пират. Человек ковылял прямо к виселице, словно тот самый пират воскрес из мертвых и, прогулявшись, теперь возвращался, чтобы снова прицепить себя на старое место. Мысль эта привела меня в содрогание; заметив, что коровы подняли головы и задумчиво смотрят ему вслед, я спросил себя, не кажется ли им то же самое. Я огляделся, ища глазами кровожадного приятеля моего незнакомца, но ничего подозрительного не обнаружил. Однако страх снова овладел мною, и я, уже не останавливаясь больше, побежал домой.

## II

Моя сестра миссис Джо Гарджери была меня старше более чем на двадцать лет и заслужила уважение в собственных глазах и в глазах соседей тем, что воспитала меня «своими руками». Поскольку мне пришлось самому додумываться до смысла этого выражения и поскольку я знал, что рука у нее тяжелая и жесткая и что ей ничего не стоит поднять ее не только на меня, но и на своего мужа, я считал, что нас с Джо Гарджери обоих воспитали «своими руками».

Моя сестра была далеко не красавица; поэтому у меня создалось впечатление, что она и женила на себе Джо Гарджери своими руками. У Джо Гарджери, светловолосого великана, льняные кудри обрамляли чистое лицо, а голубые глаза были до того светлые, как будто их синева нечаянно перемешалась с их же белками. Это был золотой человек, тихий, мягкий, смирный, покладистый, простоватый, Геркулес и по силе своей и по слабости.

У сестры моей, миссис Джо, черноволосой и черноглазой, кожа на лице была такая красная, что я порою задавал себе вопрос: уж не моется ли она теркой вместо мыла? Была она рослая, костлявая и почти всегда ходила в толстом переднике с лямками на спине и квадратным нагрудником вроде панциря,

сплошь утыканным иголками и булавками. То, что она постоянно носила передник, она ставила себе в великую заслугу и вечно попрекала этим Джо. Я, впрочем, не вижу, зачем ей вообще нужно было носить передник или почему, раз уж она его носила, ей нельзя было ни на минуту с ним расстаться.

Кузница Джо примыкала к нашему дому, деревянному, как большая часть домов в нашей стороне в те времена. Когда я прибежал домой с кладбища, кузница была заперта и Джо сидел в кухне один-одинехонек. Мы с Джо одинаково страдали от ига моей сестры и потому жили душа в душу. Не успел я открыть двери, как Джо крикнул мне:

— Миссис Джо уже раз двенадцать выходила тебя искать, Пип! Она и теперь затем же вышла.

— Не-уже-ли?

— Да, Пип, — сказал Джо. — И, что хуже всего, она взяла с собой хлопущку.

При этом страшном известии я схватился за единственную пуговицу, оставшуюся на моей жилетке, и вперил отчаянный взор в огонь. Хлопущкой мы называли камыш с тоненьким навощенным кончиком, совершенно сглаженным от частого прикосновения с моим телом.

— Она тут сидела, — сказал Джо, — а потом как вскочит, да как схватит хлопущку, да и побежала лютовать на улицу. Вот так-то, — сказал Джо, глядя в огонь и помешивая угли просунутой через решетку кочергой. — Взяла да и побежала, Пип.

— Она давно ушла, Джо? — Я всегда видел в нем равного себе, такого же ребенка, только побольше ростом.

Джо взглянул на стенные часы.

— Да, наверно, уже минут пять как лютует. Ого, идет! Прячься за дверь, дружок, да завесься полотенцем.

Я послушался его совета. Моя сестра миссис Джо распахнула дверь и, почувствовав, что она не отворяется до конца, немедленно угадала причину и стала ее обследовать с помощью хлопущки. Кончилось тем, что она швырнула мною в Джо — в семейном обиходе я нередко служил ей метательным снарядом, — а тот, всегда готовый принять меня на любых

условиях, спокойно усадил меня в уголок и загородил своим огромным коленом.

— Где тебя носило, постреленок? — спросила миссис Джо, топнув ногой. — Сейчас же говори, где ты шатался, пока я тут места себе не находила от беспокойства да страха, а не то выволоку тебя из угла, будь вас тут хоть полсотни Пипов и целая сотня Гарджери.

— Я только ходил на кладбище, — сказал я, плача и потирая побитые места.

— На кладбище! — повторила сестра. — Кабы не я, ты бы давно был на кладбище. Кто тебя воспитал своими руками?

— Вы, — сказал я.

— А для чего это мне понадобилось, скажи на милость? — продолжала сестра.

Я всхлипнул:

— Не знаю.

— Ну и я не знаю, — сказала сестра. — В другой раз ни за что бы не стала. Это-то я знаю наверняка. С тех пор как ты родился, я вот этот передник, можно сказать, никогда не снимала. Мало мне горя, что я кузнецова жена (да притом муж-то Гарджери), так нет, изволь еще быть тебе матерью!

Но я уже не прислушивался к ее словам. Я уныло смотрел на огонь, и в злобно мерцающих углях передо мной вставали болота, беглец с тяжелой цепью на ноге, его таинственный приятель, подпилоч, жратва и связывавшая меня страшная клятва обворовать родной дом.

— Н-да! — сказала миссис Джо, водворяя хлопущку на место. — Кладбище! Легко вам говорить «кладбище»! — Один из нас, кстати сказать, не произнес ни слова. — Скоро я по вашей милости сама попаду на кладбище, и хороши вы, голубчики, будете без меня! Нечего сказать, славная парочка!

Воспользовавшись тем, что она стала накрывать на стол к чаю, Джо заглянул через свое колено ко мне в уголок, словно прикидывая в уме, какая из нас получится парочка, в случае если осуществится это мрачное пророчество. Потом он выпрямился и, как обычно бывало во время домашних бурь, стал